

Ф ЛЕТЕСЬ „ОДЕСС. НОВОСТЕЙ“.

3-го декабря 1898 года.

Нисьяма о литературѣ.

А. П. Чеховъ.

Въ литературѣ толки и разговоры о г. Чеховѣ. Именемъ его положительно пестрятъ страницы журналовъ и газетъ. Даже „таинные совѣтники“ русской кнѣжности и письменности вышли изъ своихъ кабинетовъ, гдѣ они глубокомысленно обсуждали вопросъ о величїи теорїи Маркса или о ничтожествѣ теорїи Маркса и заговорили о „Мужикахъ“ и ихъ авторѣ. Отчасти это понятно. Во-первыхъ, надо же о чемъ-нибудь говорить, а во-вторыхъ, г. Чеховъ и его произведенія — тема очень удобная для разговоровъ. Какъ хотите, а изъ современныхъ русскихъ писателей г. Чеховъ — положительно выдающійся. И выдается онъ не столько даже своимъ талантомъ, сколько полной опредѣленностью и отчетливостью своей „физиономїи“. Онъ можетъ писать, писать подъ какимъ угодно псевдонимомъ, сочинять, что ему заблагоразсудится — драмы, водевили, романы, рассказы — безразлично: вы сейчасъ-же узнаете его по особенностямъ стиля, а главное — по настроенію и тону, всегда удивительно выдержанному. Собственно, такъ оно должно-бы быть всегда и притомъ у каждаго, но — подите, нѣтъ этого, и съ этими маленькими недостаткомъ „личности“, нѣди индивидуальности приходится мириться. Мнѣ кажется, что если г. Ясинскій напишетъ начало повѣсти, г. Авсеенко украситъ рассказъ чѣмъ-нибудь по адольтерной части, а г. Боборыкинъ одобритъ все это духомъ самоновѣйшей современности, то выйдетъ вещь положительно подурная и безъ всякихъ диссонансовъ. Такъ, въ концѣ-концовъ, они похожи другъ на друга. У г. Чехова, дѣйствительно, есть личность, у большинства прочихъ просто паспорты или билеты на званіе члена союза писателей. А вѣдь въ личности, въ концѣ-концовъ, — все дѣло. Будь талантъ даже не большимъ, но если у человека добавокъ къ этому таланту есть характеръ, есть отчетливый взглядъ на жизнь и опредѣленное настроеніе, онъ непремѣнно оставитъ послѣ себя нѣчто хотя и не огромное,

но непремѣнно цѣнное. Mon verre est poli, mais je bois dans mon verre, — говорилъ про себя А. Мюссе; въ существованіи этого маленькаго „верте“ и скрывалась тайна его успѣха и вліянія. Возьмите затѣмъ изъ современниковъ гг. Бальмонта и Мережковского. По силѣ, выразительности и блеску таланта послѣдній положительно выше, но въ немъ не вина личность, онъ, какъ говорится, безъ пути и сразу въ трехъ шапкахъ щеголяетъ. Оттого къ нему все еще только присматриваются, хотя, слава тебѣ Господи, — напишешь онъ томовъ 20, а то и все 30, — между тѣмъ, г. Бальмонта, который и количественно, и качественно сдѣлалъ гораздо меньше, уже все знаютъ и понимаютъ. А что такое поэзія Надсона? Стоитъ умирающаго и только. Но стоитъ выраженъ такъ ясно, опредѣленно, съ такой полнотой и задушевностью, что Надсону обезпечены и мѣсто въ литературѣ, и успѣхъ. Личность — прежде всего; — нельзя быть такимъ, какихъ въ дождикъ дѣлаютъ. У г. Чехова есть личность и настроеніе, что-же удивительнаго, если имъ такъ интересуются, особенно въ виду того, что у многихъ прочихъ нѣтъ этой физиономїи сѣрыя пятна? Личность — это „а“ человѣческое, — что-же другое интересно въ человекѣ?

Самое замѣчательное, конечно то, что долгое время наша великодушная критика виенно и не хотѣла замѣчать въ произведеніяхъ г-на Чехова этой яркой и опредѣленной физиономїи. Особенно сердились на молодого писателя наставныя и уважаемыя старцы, у которыхъ, разумеется, своим собственнымъ археологическимъ кумиромъ и которымъ каждое новое сильное дарованіе по непреложному „закоу природы“ наступало пресобольно на ногу. Они упрекали г. Чехова въ отсутствїи „направленія“, въ случайномъ выборѣ „темъ“, въ недостаточной „ясности“, чувствуя передъ собой нѣчто большее и важное они все-же услащали свою критику словами: „быть можетъ...“ „если...“ все-же“ и т. д. Старая исторія борьбы стараго и новаго поколѣнія, старая пѣсня культурныхъ старцевъ! Одно время было просто въ модѣ отрицать у молодежи всякіе признаки дарованія. Moda, кажется, прошла, и г-ну Горькому, напримѣръ, не сомнѣнно, сдѣлали гораздо болѣе любезный прїемъ, чѣмъ г-ну Чехову.

Этому послѣднему, съ одной стороны, не дали высказаться и второпи-

лись съ своими приговорами, забывъ, что его дарованіе такого сорта, которое не можетъ высказаться сразу и сразу появиться во-время въ своемъ великолѣпїи и полнотѣ и что онъ очень думчиво относится къ жизни, постоянно расширяя свои наблюденія, осмысливая всякую мелочь, — съ другой, что онъ очень яркій продуктъ своего времени и своей эпохи, для выраженія которой онъ нашелъ свое сильное слово. Это, какъ будто, ставили ему даже въ упрекъ. Очень остроумно — не правда-ли? Но конкурировать съ этими остроумцами я не стану. Полагаю, что „историчность“ произведеній г-на Чехова, его поразительная близость къ думамъ и мыслямъ своего времени — одна изъ самыхъ драгоценныхъ стороятъ его дарованія и одна изъ самыхъ оцѣнимыхъ его заслугъ поребъ русской литературой. Тогда, когда выросъ и развивался талантъ г. Чехова, происходилъ переломъ мысли, разлука съ старымъ міросозерцаніемъ и прежде всего съ его народнической окраской, его преклоненіемъ передъ мужикомъ, его вѣрой, что мужикъ придетъ и все устроитъ, вароетъ на ровномъ мѣстѣ горы, а горы превратитъ въ цвѣтущія долины и т. д., — было смутно и скучно въ жизни; что-то неясное и грозное, какъ все неясное, чудилось впереди; исканіе новыхъ началъ было мучительно и страстно безъ особенной вѣры въ „плодъ своихъ стремленій“; раздавались грустные пѣсни Надсона, и даже свѣтъ Щедрина какъ будто утерять свою бодрость и все болѣе и болѣе становился озлобленнымъ. Что было дѣлать молодому дарованію, совѣтъ по желанію повторять избитыя мысли и красоваться на деревянныхъ скамьяхъ стараго времени, размахивая картоннымъ мечомъ народничества? Г. Чеховъ удивительно честно отнесся къ задачѣ, къ которой обязывалъ его талантъ: онъ изучалъ, думалъ, искалъ, онъ старался понять хелочи жизни и всю ея странную и грустную фантазмагорію, не гоняясь за опредѣленностью и „направленіемъ“, которыми можно получить изъ послѣдней книги журнала и взять изъ проката у любого учителя жизни. Вотъ упрекъ, который былъ сдѣланъ ему однимъ изъ критиковъ по поводу рассказа „Степь“. Съ моей точки зрѣнія этотъ упрекъ надо понимать какъ разъ наоборотъ. Судите сами:

„Въ этомъ рассказѣ мы находимъ вразумительное сочетаніе полной безсодержательности сюжета съ необыкновенно тонкой от-

длинной малых, как-бы на лету схваченных описаний природы. Вся фабула складывается из того, что священник съезжает из дому, а мальчик идет по степи из губернского города, и перестать им не позволяют одно за другим восторженные впечатления. Все эти впечатления, порою ваяны, пореданы мастерски. Но была именно в том, что они совершенно случайны, что любовь из них можно было бы зачеркнуть, как и любой другой эпизод, ничуть не нарушая хода рассказа. Это, пожалуй, реально, но художественной правды в этом нет, не чувствуется переработки действительности в фантазии автора. Единственная нить, связывающая эти разрозненные встречи на пути, придающая им цельность,—это степь, бесконечная, разобранная в пустынную. Быть может, в этом скрывается философская мысль — представление о самой жизни, как о чем-то безсодержательном, как о безцельном ряде случайных встреч и мелких событий, навязывающихся одно на другое без внутренней связи. Но если такая мысль и была у автора — она высказана недостаточным ясно. А парадокс как раз требует большой определенности и решительности. Выраженные под сурдинку, они впечатлительны не производят. („Русский Роман“, Голованов, стр. 436).

Но именно в передаче неопределимого и колеблющегося настроения своей эпохи, ее тоски искания, ее отчуждения от готовых фраз и формул в заключается заслуга г. Чехова. Это-то и дѣлает его художником историком, это-то и заставляет ставить его выше, напр., г. Короленко, литературное дарование которого тоже величина несомненная...

II.

Къ чему совсѣмъ и окончательно придетъ г. Чеховъ и въ чемъ онъ найдеть правду жизни, я, разумеется, не знаю. Быть можетъ, ему, какъ Толстому придется еще десять разъ ставить и низвергать своихъ кумировъ; яспо одно, что представление о жизни, какъ о чем-то безсодержательномъ, какъ о безцѣльномъ рядѣ случайныхъ встрѣчъ и мелкихъ событій, навязывающихся одно на другое безъ внутренней связи — давно уже оставлено имъ. „Мелкія событія“ и случайныя встѣчи сложились уже въ рядѣ стройныхъ картинъ — безотрадныхъ, правда, но ужъ никакъ не лишенныхъ внутренней связи; чувствуется даже возможность выхода. Все это премудрые Аристархи нашей литературы могли видѣть уже давно напр., изъ великолѣпной пьесы „Дядя Ваня“, но они этого не сдѣлали: конечно, куда, вѣдь, веселѣе упражняться надъ искусными поэзіи и беллетристики, народа, въ сущности, безразличнаго и безотнѣтнаго. Впрочемъ,

это, очевидно, простой недостатокъ: работа сама по себѣ нетрудная. Начать ее надо было-бы съ драмы, но это завело-бы меня слишкомъ далеко. Такой разборъ приходится отложить до болѣе удобнаго случая и ограничиться пока послѣдними разсказами г. Чехова, помѣщенными въ „Рус. Мысли“.

Это превосходныя миниатюры, задуманные однако очень широко. Приходится согласиться, что когда крупное дарованіе достигаетъ своего расцвѣта, оно и въ маленькихъ пощахъ достигаетъ такихъ результатовъ, какъ въ большихъ, т. е. выражаетъ себя одинаково полно и характерно. Здѣсь въ этихъ беллетристическихъ наброскахъ, какъ-будто случайныхъ и отрывочныхъ, мы видимъ прежде всего любимый пріемъ автора — останавливаться на мелочахъ жизни. Но тайной своего таланта онъ умѣетъ придавать имъ важность и значеніе. Читая, напр., „Человѣка въ футлярѣ“, вы вѣроятно вспомните и изреченіе Талейрана, что вся жизнь состоитъ изъ мелочей и что нѣтъ ничего важнѣе мелочей, и другое изреченіе — Наполеона: „изучайте подробности — вся суть въ нихъ“. Впрочемъ, мелочь мелочи розны и „Психологія турнюра“, принадлежащая блестящему перу г. Скальковскаго, не имѣетъ, очевидно, ничего общаго съ „Мелочами жизни“ Щодрина. Мелочи г. Чехова — вещь прямо страшная.

Представьте себѣ, напр., такую фигуру неизмѣннаго пропидеяльнаго преподавателя Бѣликова:

„Онъ былъ замѣчательнъ тѣмъ, что всегда, даже въ очень хорошую погоду, выходилъ въ калошахъ и съ зонтикомъ, и непремѣнно въ тепломъ пальто на ватѣ. И зонтикъ у него былъ въ чехлѣ, а часы въ чехлѣ изъ сѣрой замши, и когда вынималъ онъ нерочный ножъ, чтобы очинить карандашъ, то и ножъ у него былъ въ чехольчикѣ; и лицо, казалось, тоже было въ чехлѣ, такъ какъ онъ все время пряталъ его въ поднятый воротничокъ. Онъ носилъ темные очки, фуфайку, уши закрывалъ ватой, когда сажался на извозчика, то приказывалъ подымать верхъ. Однимъ словомъ, у этого человѣка наблюдалось постоянное и непреодолимое стремленіе окружить себя обложкой, создать себѣ, такъ сказать, футляръ, который уединилъ бы его, защитилъ бы отъ вѣтряныхъ вліяній. Дѣйствительность раздражала его, пугала, держала въ постоянной тревогѣ, и, быть можетъ, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отращиваніе къ настоящему. Онъ всегда хвалился прошлымъ и то, чего никогда не было; и древніе языки, которые онъ преподавалъ, были для него въ сущности тѣ же калоши и зонтикъ, куда онъ уходилъ отъ дѣйствительной жизни...“

Кажется, дѣло ясное — передъ вами дряннъ и ничтожество, такъ, иразъ какая-то, которую выдавить не стоитъ. Теперь посмотрите, какіе онъ выкиды вывадетъ фокусомъ:

„Если кто изъ товарищей опаздывалъ на урокъ, или доходилъ слухи о какой-нибудь проказѣ гимназистовъ, или видѣлъ классную даму поздно вечеромъ съ офицеромъ, то онъ возмущался и все говорилъ, какъ бы чего не вышло. А на педагогическихъ совѣтахъ онъ просто угнеталъ свою осторожностью, внимательностью и своими чисто-футлярными соображеніями насчетъ того, что вотъ-де въ мужской и женской гимназіяхъ молодежь ведетъ себя дурно, очень шумитъ въ классахъ, — ахъ, какъ бы не дошло до начальства, ахъ, какъ бы чего не вышло, — и что еслибъ изъ второго класса исключить Петрова, а изъ четвертаго — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, мыслями, своими темными очками на бѣлбонѣ, маленькомъ лицѣ, — знаете, маленькомъ лицѣ, какъ у хоряка, онъ давилъ насъ всѣхъ, и мы уступали, обаяли Петрову и Егорову баломъ во поведенію, сажали ихъ подъ арестъ и въ концѣ концовъ исключали и Петрова, и Егорова“.

Конечно, одинъ Бѣликовъ значить очень мало, но вообразите себѣ миллионъ такихъ Бѣликовыхъ, пританцовывающихся по разнымъ угламъ и морямъ, и вы увидите передъ собой силу болѣе грозную, чѣмъ Александръ Македонскій и воинство его. Правда, эти сны жизни Персія не завоевуютъ, но что они подѣлятъ самую жизнь или обратятъ ее въ стоячее болото, это несомнѣнно. Сила Бѣликовыхъ конечно, не въ нихъ самихъ, а въ томъ, что окружающая публика слишкомъ уже ихъ боится, слишкомъ балуетъ ихъ своимъ послушаніемъ, а потому по свѣчаю и обычаю только разводитъ руками, съ недоумѣніемъ вопрошая себя: „да какъ же мы могли слушаться какого-нибудь Бѣликова и исключать изъ-за его мыслей несчастныхъ и Петрова, и Егорова?“ „Мы, учителя, — продолжаютъ Буркинъ, отъ лица котораго ведется разсказъ — боялись его. И даже директоръ боялся. Вотъ, подите-же, наши учителя народъ все мыслящій, глубоко порядочный, однако-же этотъ человѣчекъ, ходившій всегда въ калошахъ и съ зонтикомъ, держалъ въ рукахъ всю гимназію цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ! Да что гимназію — весь городъ! Подъ вліяніемъ такихъ людей, какъ Бѣликовъ, у насъ стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, помогать бѣднымъ... Прежде всего важнѣе самый фактъ, что трусы Бѣликовъ, боящійся всего — простуды, промоль-

внушей за окномъ тѣни, гимназическихъ проказъ, заставляють трепетать передъ собою цѣлый городъ и даже людей умныхъ и глубоко порядочныхъ. И особенно страшно то, что Бѣликовъ не негодитъ, не прохвостъ: онъ дѣйствуетъ не изъ корысти, не изъ-за карьеры; самъ онъ даже не ищетъ для себя никакой выгоды: онъ дѣйствительно бьется офицера, гуляющего съ классной дамой, и женщины, катающейся на велосипедѣ. Совсѣмъ непосредственно онъ дѣйствуетъ какъ опытный гипнотизеръ, алия на окружающихъ логикой пассами страха не считъ того, что какъ-бы чего не вышло изъ этого. И окружающіе вѣрятъ ему, какъ загипнотизированный вѣрять, что ѣсть акаласъ, съ аппетитомъ жуй картофельную шелуху.

Хороша его фигура, съ поразительной отчетливостью обрисованная въ коротенькомъ разсказѣ, хороша фигура и рассказчика Буркина, недоуменнощаго, какъ это онъ цѣлыхъ 15 лѣтъ слушался Вѣликова, не онѣя даже завести собѣ велосипеда. Если это не сатира, то нѣчто очень близкое къ ней, — во всякомъ случаѣ, превосходное и художественное произведение. Никто, даже храбрый (особенно по части перепечатокъ, выдаваемыхъ за критическіе фельетоны) г. Скабичевскій не скажетъ про „Человѣка въ футлярѣ“, что, „быть можетъ, въ этомъ произведеніи и была философская мысль... Но если такая мысль и была у автора то выражена она недостаточно ясно и опредѣленно“. Здѣсь вы видите и цѣльное міросозерцаніе, и вполне отчетливое отношеніе къ жизни.

То же самое и разсказъ „Крыжовникъ“. Содержаніе его очень просто. Крошечный канцелярскій служитель задумалъ во что бы то ни стало стать хотя-бы подлѣ старосты помѣщиковъ и десятки лѣтъ откладывалъ копѣйку въ копѣйку. Мечталъ онъ о разныхъ сельскихъ идилліяхъ, но во всѣ его разнообразныя мечты о грядущемъ благополучіи, какъ необходимый элементъ, входилъ кустъ крыжовника. „Онъ чертилъ планъ своего имѣнія, и всякій разъ у него на планѣ получалось одно и то же: а) барскій домъ, б) людская, в) огородъ, г) крыжовникъ“. Наконецъ блаженныя мечты осуществились. „Перемена жизни къ лучшему, сытость, праздность развиваютъ въ русскомъ человѣкѣ саможизніе самое наглое. Николай Ивановичъ, который когда-то въ палатѣ боялся даже для

себя лично имѣть собственныя взгляды, теперь говорилъ одиѣ только истинны, и такимъ тономъ, точно министръ: образованіе необходимо, но для народа оно преждевременно; тѣлесныя наказанія вообще вредны, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ они полезны и даже необходимы“. Онъ былъ совсѣмъ счастливъ. „Вечеромъ, когда имъ пили чай, кухарка подала въ столу полную тарелку крыжовнику. Николай Ивановичъ засіялъ и минуту смотрѣлъ на крыжовникъ полными слезъ глазами, потомъ подошелъ въ ротъ одну ягоду, поглядѣлъ на нее съ торжественнымъ ребенкомъ и сказалъ: „какъ вкусно“. Было жестко и кисло.

„Особенно тяжело было ночью. Нѣтъ по-прежнему въ комнате рядомъ съ спальной братъ, и нѣтъ было слышно, какъ онъ не спитъ и какъ встаетъ и ползаетъ въ тарелкѣ съ крыжовникомъ и брѣлъ по ягодамъ. Я соображалъ: какъ, въ сущности, много довольныхъ, счастливыхъ людей! Какая это подавляющая сила!“

И здѣсь, въ „Крыжовникѣ“, какъ и повсюду у Чехова, торжество пошлости и тупого самодовольства, и тутъ счастье, заканчивающееся въ круговорѣтъ, ограниченномъ фразами о тѣлесныхъ наказаніяхъ и собственныя прижизненности! А что же для тѣхъ, кто больше и выше? Тѣмъ Чеховъ не даетъ счастья и предостерегаетъ одиѣ неудачи. Прекрасно выразился одиѣ изъ его героевъ:

— Павелъ Константиновичъ, — проговорилъ онъ умоляющимъ голосомъ, — не условивайтесь, не давайте усмѣхать себя, дѣлайте добро! Пока морозы, сильныя, боты, не уставляйте дѣлать добро! Счастья нѣтъ и не должно быть, а есть жизнь, и если она имѣетъ смыслъ и цѣль, то смыслъ этотъ и цѣль вовсе не въ наивнѣ счастья, а въ чемъ то болѣе разумномъ и великомъ. Есть жизнь, есть нравственный законъ, высшій для насъ законъ... Давайте добро!“

На этомъ пока и остановился А. Чеховъ. Но, только разобравъ его драмы, мы увидимъ, какъ глубоко проникаетъ онъ эту простую идею. Странная мысль о роковомъ торжествѣ пошлости и тупого самодовольства, о невозможности и невозможности счастья для всякаго, возвысившагося надъ идеаломъ собственного крыжовника, владѣть имъ. Это цѣльно и полно. Почему? На этотъ вопросъ я отвѣчу какъ-нибудь послѣ.

СКРИБА.

(С. А. Скриба)